

TRIMESTRIEL

CARTELE PUBLICATIONS

(3^e cahier : Septembre-Octobre 1954)

ВОЗРОЖДЕНИЕ

« LA RENAISSANCE »

*Литературно-политическія
тетради*

ТЕТРАДЬ ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Сентябрь-Октябрь 1954 года

PARIS

78, av. des Champs-Élysées, (VIII^e)
Tél : ELYsées 06-03.

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

БОРИС ЗАЙЦЕВ О ЧЕХОВѢ.

Издательство имени Чехова порадовало нас книгой Бориса Зайцева, озаглавленной "Чехов. Литературная Биография". Повидимому, словом "литературная" автор справедливо хотѣл подчеркнуть, что его труд, взыскательный и строгій, ничего общаго не имѣетъ с бывшими еще так недавно в модѣ романсированными биографиями, произвольно искажавшими правду о человѣкѣ и художникѣ.

Подлинными жизнеописаніями больших художников слова мы, русскіе, весьма небогаты. До сих пор нѣтъ у нас даже настоящей биографіи Пушкина, хотя матеріалы о жизни этого поэта, собранные с исключительной добросовѣстностью и тщательно проверенные, громадны.

Но что разумѣть под настоящей биографіей? Не есть-ли она прежде всего портрет — совершенно особый род искусства, закрѣпляющій словом или кистью не только тѣлесныя очертанія, душевныя свойства — характер даннаго человѣка, но и его личность, ея единственный, неповторимый, ни чѣм и ничѣм незамѣнимый современникъ. Истинный портрет жеста как бы прозрачен, он, в зависимости от имъ отображаемаго живого существа, озарен изнутри или аурой ангельскаго свѣта, или злобным пламенем грѣха. Портрет прикасается к сущности, к чему-то, рѣшающему конечную судьбу оригинала. Творческое отраженіе незамѣнно обнаруживаетъ в отражаемом скрытый дотолѣ от нас полонительный или отрицательный реальный процесс, самовозгорающійся духовный свет. Но портрет не ограничивается раскрытіем потаеннаго міра имъ отображаемаго человѣка, он в той же



Studio Dorlys.

Борис Зайцев. I

мѣръ приобщает нас к духовному средоточію своего собственного творца. В художественной цѣльности своей нерасчленимый, портрет — дулик: мы одновременно обрѣтаем в нем отображенного с отображающим.

Эти мысли как бы сами собою возникают при чтеніи книги Бориса Зайцева, а при ближайшем знакомствѣ с нею читателю становится ясно, что это первый у нас вполне совершенный опыт жизнеописанія. Даже замѣчательные труды того же автора о Тургеневѣ и Жуковском уступают в совершенствѣ этой во всѣх отношеніях стройной и равновѣсной книгѣ. Ея аскетически сдержанный язык отражает лишь единое на потребу. И только таким языком подобает говорить о Чеховѣ.

Воспоминанія довольно многочисленных лиц об этом замкнутом, душевно подобранным, внешне холодноватом человѣкѣ, об этом часто безпощадном, неумолимо правдивом художникѣ, за рѣдкими счастливыми исключеніями, написаны сласщавым языком с присюсюкиваніем, в так называемых “задушевных, теплых тонах”, с “лирическими отбѣнками”, не лишенными традиціонных “дымок” и “красочных штрихов”. Всѣ эти затертые, пошлые слова и выраженія, ваятые мною в кавычки, Чехов считал оскорбительными для писателя. Однако они неизмѣнно примѣнялись к нему, к автору “Оврага” и “Палаты № 6” различными рецензентами и журналистами. Примѣнялись они и к Зайцеву. Он в свою очередь полностью познавал горе от журнальных похвал. Оттого, быть может, его язык всегда небрежно скупой и сдержанный, с годами изощрился в точности, стал еще осторожнѣе в поступи, строже в своей опредѣленности. Именно строгость и точность приѣмов приближают Зайцева к Чехову, роднят их в служеніи искусству. Но, несмотря на бесспорное родство, есть между этими двумя писателями, говоря по пушкински, “разность”, при том чрезвычайно важная и дарующая, по крайней мѣрѣ на мой взгляд, одно большее преимущество Зайцеву. Он не только религиозен, как всякій истинный художник, но он и сознает свою религиозность. Оттого его ибра дѣйственно пребывает в его творчествѣ. Ибра одухотворяет искусство Зайцева, тогда как у Чехова, при его видимом невѣріи, подспудная, пассивная, несознанная им религиозность всего лишь оформляет его искусство. Зайцев, как писатель, духовен; Чехов — душевен. Зайцеву, как художнику, идущему путями духовными, мог бы пріоткрыться доступ к трагическому, но ради особо налагаемой на себя дисциплины, близкой, может быть, к церковной, он не хочет выводить трагического начала наружу, а ифломудренно прикрывает его зѣлѣм умиротворяющим покровом. Все же момент очищенія, освобожденія от будничных пут, человѣческих грѣхов и паденій творчеству Зайцева присущ. Но Чехову, неознающему собственных религиозных истоков, пути к примиренію или к грозѣ очищающей были навсегда закрыты, он безысходно оставался в драмѣ, был обречен на нее, а она — то и есть не что иное, как олицетвореніе самого существа безысходности. Даже лирика Чехова, многими, повидимому и Зайцевым, любимая, во до моего сердца, — должен в том признаться, — не доходящая, не спасала его искусства от драматической безысходности, потому что лирика эта была происхожденія совсѣм не религиознаго, а всего лишь человѣческаго, гуманнаго. Она никак не сливается, не гармонизирует с ходом чеховскаго

искусства, воспроизводящего с непостижимой жуткой неуклонностью темные дикости жизни. Безвѣріе Чехова, точнѣе — неспособность этого художника постичь и обнаружить собственную подспудную религіозность, порождало в нем отчаяніе. И надо признать, что біографія Чехова, написанная Зайцевым, явленіе в наши дни весьма значительное и многообѣщающее. Ему первому удалось, любовно прильнув душою к душѣ Чехова, обнаружить подспудные ключи чеховской религіозности, наглядно показать нам и досказать за самого художника им недоговоренное и недосотворенное.

“Всю жизнь, говорит Зайцев, — его развитіе шло по двум линіям, — в разныя стороны... Матеріализм доктора Чехова получил поддержку в средѣ, куда литературно он перемѣстился (сѣлая интеллигенція)... Надо вѣрить в прогресс, через двѣсти-триста лѣтъ все будет замѣчательно... церковь и религію давно надо по боку. Это путь общаго потока... А главное — в нем было нѣчто подземное, совсѣм в другом родѣ. С годами, в страданіях болѣзни, в одиноких ялтинских созерцаніях, в ощущеніи близкаго конца..... оно росло, просвѣтлялось, искало выхода и нѣчто открывалось ему, о чем разумными словами он сказать не умѣл. Это был несознанный свѣтъ высшаго міра, Царства Божія, “которое внутри нас есть”.

“Архіерей”, одно из заключительных твореній Чехова, есть его, по вѣрному утвержденію Зайцева, “свидѣтельство зрѣлости, и предсмертной несознанной просвѣщенности”. Архіерей умирал: “он уже не мог выговорить ни слова, ничего не понимал, и представлялось ему, что он, уже простой, обыкновенный человѣкъ, идет по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может идти, куда угодно”.

К этим словам Чехова Зайцев кратко, с исчерпывающей многозначительностью, добавляет от себя: “шел он, конечно, просто к Богу”.

Душа умирающаго архіерея, нынѣ свободная, как птица в широком солнечном небѣ, это скрытая религіозность самого Чехова, собственное, им не созннное, свѣтоносное ядро, то, о чем разумными словами он сам о себѣ сказать не умѣл. Большая заслуга Зайцева состоит в том, что он первый, простыми и ясными словами, повѣдал нам за Чехова о тайном и главном в Чеховѣ.

Всѣм сердцем чувствует Зайцев, что всѣ мы стоим сейчас на великом переломѣ, перед религіозной побѣдой над позитивным матеріалистическим вѣком, над наивной, но ядовитой вѣрой в науку, губившей Чехова, а вмѣстѣ с ним и несчастнаго Николая Степановича, профессора медицины, убѣжденнаго дарвиниста из “Скучной Исторіи”. Этот неотступный призрак, этот страшный снимок еще не ровнѣм умершей, но безповоротно умирающей души Зайцев проникательно считает “роковым для Чехова”. Автор “Скучной Исторіи”, изображая старѣющаго профессора, жалкую жертву слѣпой и грѣховной вѣры в науку, хотѣл безсознательно, почти инстинктивно, побороть, страхнуть с себя смертоносное изваженіе вѣка, но изнемог в борьбѣ. Ибо ничто так душевно не уединяет и одиночеством не обезсиливает человѣка, как невѣріе. Оно-то и есть само воплощеніе рока.

Зайцев позлагает Чехова существом сильным. В какой то мѣрѣ, в каком то отношеніи, он безусловно прав. Однако этой силы хватало у

Чехова лишь на пассивное сопротивление глухой, невидящей судьбы, на неумолимо правдивое отображение роком опустошенных человеческих душ. Сознать скрытно присущую ему, как человеку и художнику, религиозность и тем самым познать нечто о существовании Единого Сверхразумного Творца Чехову дано не было. Для того, чтобы в пѣдрах російскаго художества дѣйственно-творчески преодолѣть тяготеніе рока, понадобились не душевныя силы Чехова, а духовная мощь Тютчева и Достоевскаго, всецѣло прошедших через испытанія невѣріем и в борьбѣ за собственное и наше безсмертіе зачерпнувших, пусть всего лишь каялю, "стихіи чуждой, запредѣльной".

Чтобы наглядно показать, какая непроходимая пропасть отдѣляет душевный опыт Чехова от духовнаго опыта Тютчева и Достоевскаго, достаточно привести нѣкоторыя замѣчанія Зайцева о "Скучной Исторіи" и о ея авторѣ. Эти замѣчанія, справедливо характеризующія душевнаго Чехова, прозвучали бы совсѣм странно и неумѣстно в примѣненіи к Тютчеву и Достоевскому. Вот что пишет Зайцев, привожу его слова отрывочно:

"Но что может дать..... молодым и незнающим..... этот Николай Степанович, профессор медицины, грудь которого так увѣшана орденами, что студенты называют его иконостасом, — когда он и сам ничего не знает. У него есть только наивная вѣра в науку (..... "она всегда была и будет высшим проявленіем любви") и "судьбы востнаго мозга интересуют его больше, чѣм конечная цѣль мірозданія". Но вот и оказывается, что в нѣкоем отношеніи все это ничего не дает. Нѣтъ "общей идеи", говорит он. Общей идеи! Не лучше-ли сказать вѣры. Основной интуиціи: есть Бог, и міръ создан не зря... Разгадать тайны міра мы не можем, но достойно служить обязаны. Только для этого надо и над наукой, и над искусством, и над философіей, чувствовать нечто высшее. А одного востнаго мозга мало. Хорошо изучать его. Но плохо обожествлять. Встрѣчаясь с ним смерти слишком трудно".

"В дѣлѣ художника. — продолжает Зайцев — повѣстунка (так называет Чехов свою повѣсть Г. М.) занимает крупное мѣсто. В исторіи его души — тоже: предѣл безутѣшности...

Как и всегда дѣлал, старался отклонить от себя отвѣтственность... Но как бы ни укрывался, яд излит из его сердца. Оттого и заражает".

Да, яд излит непосредственно из души и сердца самого Чехова. По утвержденію Зайцева, "Скучной Исторіей" "Чехов, не сознавая того, похоронил матеріализм, о котором всегда отзывался с великим уваженіем. Художник и человек Чехов убил доктора Чехова".

В подспудном отношеніи, если можно так выразиться, это конечно сказано вѣрно. Однако эта подспудная, несознанная Чеховым истина, не могла превратить его безвыходной драмы во всеочищающую трагедію. Он до конца своих дней оставался душевно сильным, но духовно слабым человеком и художником. Тайное, вѣбразумное в Чеховѣ постиг за него, завершил и выразил Зайцев. Короче говоря, он написал портрет Чехова — его совсѣм не литературную, а творческую біографію. Творчеством отозвался Зайцев на творчество. Портрет, повторяю, двулик, в нем одновременно обрѣли мы отображаемаго с отобразившим. И этот отобразившій, человек и писатель наших дней, живет и дышет вмѣстѣ с нами на передомѣ, ведущем нас к подлинной соборной

побѣдѣ над великим злом, погубившим наше отечество. Имя этому злу
— невѣріе.

Георгій Мейер.